

«Святое чувство» надежды прирождено человеку и живет в нем «наперекор страстей» — наперекор мятежным земным порывам. Лермонтов предвосхищает здесь моральную проблематику Л. Толстого: нравственное совершенствование представляется ему как движение вспять — к первоосновам личности, к простейшим формам человеческого общежития [см. 8]. «Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, — говорится в «Герое нашего времени», — мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какою была некогда и верно будет когда-нибудь опять» [1, т. VI, с. 224].

Двойственность человеческой психики предопределяет и два противоположных пути, две различные формы, в которых воплощена в лермонтовской поэзии устремленность к идеалу. Томимая небесным блаженством, душа жаждет вкусить, предвосхитить его уже здесь, на земле, и потому жадно ловит все, что кажется ей обещанием вечности, явлением и знаком иного, лучшего мира. Совершенная личность наделена у Лермонтова обостренной чувствительностью, способностью угадывать тайный смысл земных явлений, постигать по едва уловимым намекам, «по легким признакам» скрытое воплощение высших начал бытия — «напоминание о безбрежном величии мира, об идее вечности и бесконечности жизни» [9, с. 147].

Поэт и близкие ему герои особенно ценят погруженность в мечту, воспоминание, грезу, вещей сон или сомнамбулический транс. Человек тогда словно бы выпадает из действительности, из реального течения времени (граница между мигом и вечностью как бы стирается, исчезает) и обретает некое подобие идеальной гармонии, ее прообраз — состояние, запечатленное в таких стихотворениях, как «Желанье» (1832), «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837), «Ветка Палестины» (1837), «Из-под таинственной, холодной полумаски...» (1841), «На севере диком стоит одиноко...» (1841), в воспоминаниях и грезах Мцыри, в ряде пейзажей «Героя нашего времени». Только позабыв «скучные песни земли», полностью отрешившись от «мира печали и слез», душа припоминает сладкие «звучки небес» и упоительную гармонию райского блаженства. Вот почему столь характерны для лермонтовской лирики мотивы забвенья-воспоминания («Как часто, пестрою толпою окружен...»), сна во сне («Сон»). Погруженность в грезу, забытие — это некое устойчивое состояние, постоянное свойство лирического героя, «лермонтовского человека» вообще [см. 5]. Такого рода отпадение от реальности служит для Лермонтова неоспоримым свидетельством нравственного совершенства личности, ее сопричастности высшим началам бытия. И одновременно — дает новый импульс, питающий и усиливающий постоянное тяготение к «небесному», удостоверяющий его осуществление, его истинность.

Романтический максимализм Лермонтова не позволяет ему, однако, уйти от враждебной действительности, полностью от нее отрешиться, искать спасения в отвлеченно-идеальной сфере. Жизнь, не отвечающая его высоким требованиям, «пустая и глупая шутка», она кажется поэту бессодержательной и бессмысленной, а единственно достойной целью земного существования представляется поединок с мировым злом. Его лирическому герою свойственно «повышенное чувство ответственности за все, что происходит в мире» [10, с. 280]. Мечта о подвиге, о героическом действии, требующем предельного напряжения всех духовно-нравственных сил и отвечающая представляемую лирического субъекта о своей избранныческой миссии: «Я хочу, чтоб целый мир был зрителем торжества или гибели моей» [1, т. II, с. 38], — другой путь, другая форма устремленности поэта к высшим идеалам.

При невозможности героического действия в настоящем, при неясности непосредственных путей и целей борьбы особую значимость и самоудовлетворяющую ценность в творчестве Лермонтова приобретает героическая *настроенность*, готовность к борьбе и подвигу — вне зависимости от каких-либо практических результатов. Многозначителен в этом смысле